

Ночь в Амстердаме

Шум в автобусе постепенно стихал. Еще кто-то, приподнимаясь с кресла, спрашивал:

— Почему вы не были на концерте Никитиных?

Откуда-то долетало:

— Куда мы с вами последний раз ездили — в Брюгге или Люксембург?

Кто-то со взволнованным лицом не мог усидеть на месте, пробирался между креслами и шептал, что через два-три месяца родители, сестра или друзья будут здесь. Его поздравляли, прекрасно понимая состояние радостного ожидания. Это были каждодневные разговоры, которые возникали в любом месте, где бы ни происходили их встречи.

Не то чтобы она не любила шум. Пожалуй, напротив. Ей всегда нравилось погружаться в суету вокзалов и пристаней, поездов и пароходов, которые, в конце концов, приводили ее в новые города, страны. Она непринужденно чувствовала себя на многолюдных улицах, шумных перекрестках, любила ощущение слитности с незнакомой толпой и в то же время своей уединенности в ней. Рядом бурлила чужая шумная, всегда для нее безумно интересная жизнь. Не понимая языка, она отчетливо понимала, что движет этими людьми, какие чувства выражают их лица. И эта если не духовная, то душевная общность радовала ее. А мысли ее текли сами по себе, жадно впитывая и откладывая в памяти все новое, незнакомое. Позже она осмыслит, переберет каждое воспоминание, и все это из скользнувшего мимо в электричке Кобулет-Сачхери, на базарах Хивы и Самарканда, на площадях Пигаль и Трафальгар станет по-настоящему увиденным, узнаваемым в той мере, в какой вообще что-либо поддается постижению. И останется уже с ней навсегда. Пройдут годы, но она без труда сможет мысленно повторить путь по любому из городов, в памяти отчетливо всплывет, что она там видела, помнила — было это в первый, второй или какой-то там день пребывания. Цепкость ее памяти иногда обременяла ненужными подробностями. Но вместе с тем она не хотела терять ни крупицы увиденного.

Но последние годы, прожитые здесь, несколько видоизменили, как она, насмехаясь над собой, думала, ее давно сложившийся характер. Перед каждой многолюдной встречей она ощущала некоторую напряженность: предстоял ритуал приветствий, которого она бы с удовольствием избежа-

ла. Все люди, которые ехали в автобусе, были знакомы друг с другом. Их связывали несложные отношения приязни-неприязни, каких-то нехитрых первобытных деловых связей, мелких подспудных интриг. И все это было приправлено известными всем сплетнями, которые так легко возникают в любом замкнутом обществе и чаще всего имеют основание. Люди встречались так, будто не виделись по меньшей мере несколько лет или вернулись только что откуда-то, где подвергались явной опасности, которой, ко всеобщему изумлению, им удалось чудом избежать. Женщины, отбросив резким движением сигарету, чуть-чуть быстрее, чем это было необходимо, бросались навстречу, чуть-чуть более порывисто, чем требовало дружелюбие, целовались, в то же время не забывая о свежей, час тому назад наложенной косметике. Над толпой вспархивали легкие вскрики:

— Ты как всегда... Посмотрите, какая красавица моя подруга!

— Нет, невозможно, как вам удалось этого достичь?.. Но это, наверное, секрет, который вы не откроете...

— Почему вы мне не позвонили? Я бы обязательно пришла, если бы знала, что вы болеете...

Подходя, она уже была готова получить свою порцию:

— Вас не узнать, вы полностью изменили свой облик... Прическа, стиль совсем другие...

Ну что ж, все это легко поддавалось расшифровке: одна хотела подтверждения, что она не менее хороша, чем ее подруга; другая намекала третьей, что она плохо выглядит. Что, это о ней самой? Прическа, стиль?.. Какая чушь, до стиля еще далеко. Но женскими взглядами, отточенными рассматриванием витрин Шанель, Версаче и Армани, было отмечено, что она уже вышла из разряда тех, кто ходит в униформе — свитер, брюки, куртка. Она тоже охватила одним взглядом толпу, тоже заметила кое-что, отдала должное кое-кому, но включаться в предложенный разговор не хотелось: она уже в эти игры не играет — скучно. Но все-таки кому-то помаяхала рукой, кому-то сказала: "Привет, дорогая!" — но от обряда поцелуев довольно удачно увильнула.

Шла обычная слегка лукавая женская жизнь: не слишком скрываемое непринципиальное соперничество, более тщательно скрываемое любопытство к финансовым возможностям ближних и дальних. Результаты наблюдений давали пищу для размышлений, которые, в свою очередь, подталкивали делать маленькие шажки вперед.

"О, подруги мои, носительницы прогресса! — добродушно произдевалась она. — Мы не пропадем!" Способность мимикрировать и инстинкт

самосохранения всегда безошибочно помогали выбрать того — с более увесистой дубинкой или каменным топором, предпочесть конного пешему, видеть реальный путь смены "фольксвагена" 82 года издания на "мерседес-600". А что касается нашей жизни, так сказать, в предшествующем воплощении, то она была странной помесью альтруизма и мазохизма, несколько затянувшейся болезнью, но, к счастью, не успевшей превратиться в хроническую.

Мужиков она жалела искренне. Вырванные из знакомого стойла проектных институтов и конструкторских бюро с их бесконечным курением и спорами ни о чем на лестничных площадках, из атмосферы гонки и сдачи, как каждый из них в душе понимал, не очень нужных проектов в конце квартала, поездок в подшефное село на сбор картофеля, лука и моркови, поисков шумевшей книги, прочтение которой нельзя было отложить ни на один день, футбола, телевизора, от школьных друзей Витьки и Генки, которые в кризисный момент понимали абсолютно все, — они казались ей травоядными ящерами, перенесенными в чуждую им геологическую эпоху. И хотя сочной травы здесь было достаточно, они слегка затуманенным сознанием понимали, что доминирующим видом является какая-то другая, зубастая популяция. Ей казалось, что, встречаясь большими группами в каком-нибудь уединенном местечке, они тихо, с робкой надеждой спрашивали друг друга: не начали ли отрастать зубы, так, просто, сами по себе — ведь это было бы так удобно, сняло бы все маячащие впереди проблемы — и не слышать ли о прецедентах такого рода, имеющих место быть.

* * *

Разговоры в автобусе перешли уже и в вовсе бытовой план: о преимуществах одного общежития перед другим, о маклерах и съеме квартир, весенней распродаже, болезнях и врачах — неизменные вехи их жизни. Автобус приближался к голландской границе. Переход, как всегда, осуществился незаметно: придорожные указатели, вывески и реклама сменили немецкий язык на голландский. Впереди показался первый голландский городок Венло, знаменитый своими дешевыми субботними ярмарками. Не раз знакомые приглашали их съездить вместе, но сама идея поехать за продуктами ей и Юрке казалось смешной. Сколько им нужно еды на двух человек, чтобы ездить за шестьдесят километров в расчете на какую-то копейную экономию?

Сегодня тоже была суббота. И вдруг кто-то из уже побывавших здесь

начал подбивать остановиться на часок-другой, мол, еще совсем рано, и мы еще успеем до полудня в Амстердам. И все вдруг с неожиданным единодушием поддержали идею. А ее порадовала возможность продлить предвкушение, побыть еще некоторое время в состоянии ожидания, которое, она была в этом уверена, не обманет.

Автобус свернул с автобана в город и мгновенно очутился в потоке легковых машин, движущихся в одном направлении. Город был таким чистым, ухоженным, какими, вероятно, бывают только голландские города. Он сиял яркими красками узких фасадов двухэтажных домов: кирпичная кладка, изразцовые фронтоны, замысловатые металлические крылечки с невысокими лесенками. Все было настолько совершенно в своей законченности, что иногда производило впечатление декорации.

Условившись встретиться через полтора часа у автобуса, они смешались с толпой. Базар обрушился на них оглушительным шумом, фейерверком красок и запахов. Горы снеди громоздились в лучших традициях фламандской живописной школы. Всего было слишком много — изливающееся через край раблезианское изобилие, привычное и экзотическое, еще не виданное. "Почему таким скучным словом "натюрморт" — "мертвая природа" — принято называть изображение этой живой, трепетной красоты плодов земли?" — вскользь подумала она.

Базар был зрелищем и действием. И главными его персонажами были продавцы-засывалы: отработанные, хриплые, нарочито грубые голоса звучали над толпой: "Leute, kommt!" Нечто вроде нашего: "Народ, налетай!". Они с невероятной быстротой жонглировали ножами, взвешивали, паковали, получали деньги; и все это делали не глядя, а опытные глаза уже выискивали в толпе, теснящейся вокруг них, очередного покупателя, и не стихающий ни на минуту крик уже относился непосредственно к нему. А люди, запрудившие все пространство среди лотков, киосков и вагончиков, тоже кричали, смеялись, азартно торговались, пробовали, заталкивали в сумки метровых копченых угрей и тушки птиц, головки сыров и пакеты с колбасами, грузили в машины овощи и фрукты в каких-то невероятных количествах. Ей нравились эти рослые светловолосые румяные, с тугими щеками потомки Тиля Уленшпигеля и Ламме Гудзака, тащившие с веселым озорством переполненные корзины, пакеты и ящики. Похоже было, что они поглотят все это, не задумываясь о диете, холестерине и всех прочих роковых последствиях. Хотя, может быть, если между радостным восприятием жизни и самой жизнью нет нестыковки, зазора, то ничто и не может повредить. Подуставшая за последние годы от своих

новых соотечественников с их подлинной в редких случаях респектабельностью и более или менее удачной ее имитацией, которая сводилась к подчеркнuto негромкому говору в общественных местах, святым часам отдыха между часом и тремя дня, когда даже неприлично звонить по телефону, запираением входных дверей в семь часов вечера, она чувствовала, что отмякает душой, уходит ставшее привычным напряжение. Она понимала: это на минуту-другую, но все равно радостно впитывала ощущение раскованности, исходившее от людей вокруг нее. Конечно, их жизнь не была беспроблемной — просквозила самая банальная из всех банальных мыслей. Но, вероятно, они умели плотно закрыть за собой в пятницу вечером служебную дверь и не тащить домой весь свой груз усталости, сомнений, неудовлетворенности. Они не были похожи на людей, которые, лежа на диване в субботу, пережевывают неудачи прошедшей недели, вовлекая в обсуждение и всю семью. Казалось, что все вместе они создают положительное эмоциональное поле, к краю которого она тоже слегка прикоснулась.

Получаса ей хватило на то чтобы расслабиться и вновь собраться: "Хватит, это чужой праздник!". А потом они пробирались по узким улицам старого города, заставленными в этот последний апрельский день столиками бесчисленных кафе. Люди, сидящие за столиками, громко переговаривались через улицу, официанты, завернутые до пят в белые фартуки, скользили между столиками, здесь же бегали дети, поедая что-то бело-розовое, а те, которые еще не могли бегать, сидели в колясках, следя голубыми безмятежными глазами за низко летающими чайками, чьи резкие голоса заставляли вздрагивать дремлющих на страже у колясок собак. Это была субботняя жизнь — вся открытая напоказ для всех — свидетельство благополучия, демонстрация успехов, заявка на будущее.

И вдруг многолюдье осталось позади, и они очутились на маленькой площади, совершенно одни. Застроенная теснящимися старинными домами, окрашенными в темно-коричневый цвет, с проросшими причудливыми цветами решетками окон, с крошечным фонтанчиком посредине, площадь казалась вырванной из сегодняшнего дня. Один из домов, с золоченым шпилем, был ратушей, в других тоже размещались отделы муниципалитета. Но хрупкая красота их не связывалась в сознании с присутственным назначением. Казалось, что люди ушли отсюда, боясь разрушить очарование, а потом забыли и дорогу к площади, и она дремлет в ожидании их возвращения.

И вдруг нечто сюрреалистическое заставило Тину вскрикнуть от неожиданности и восторга: невдалеке улицу пересекало белое крыло па-

руса. Это было невозможно, непонятно, но это было: парус вынырнул из-за дома, обогнул его и скрылся за домом напротив. Через секунду они поняли, что идущая поперек улица была каналом, и все стало на свои места. Но они уже знали, что для них городок по имени Венло — это безлюдная площадь и медленно уходящий парусник.

* * *

За окном автобуса поля, поросшие яркой зеленью, чередовались с теплицами, грядками цветущих тюльпанов, ветряными мельницами, маленькими фермами. Уходящий назад пейзаж казался странно знакомым. Постепенно из глубины памяти всплыло: их сыну было лет семь или восемь, когда их настигло семейное увлечение. В те годы изредка появлялись в магазинах игрушек строительные наборы из Германии. Из крохотных деталей по рисунку можно было собрать домик, умиляющий своими подробностями. В нем было все: резные карнизы, занавески и горшочки с цветами на окнах, несколько ступенек, ведущих к входной двери, и даже кнопка звонка. Домик был, как правило, огорожен заборчиком, за которым можно было разместить сюда же прилегающие деревья, цветы и собачку, поднимающую лапку на кустик. Вскоре домики разных фасонов составили улицу; потом появился магазин, аптека и почта и, наконец, вокзал с пассажирским поездом из двух вагончиков с паровозом. Улица игрушечного городка долго стояла на полке в Тимкиной комнате, пока не надоела, утратив новизну, и была раздарена на детских именинах. Глядя сейчас сквозь стекло на проплывающие мимо городки, так напомнившие ей ту улицу на полке, она подумала, что тогда их посетило воспоминание о будущем, предвосхищение, о смысле которого они и не догадывались в то далекое время надежд и ожиданий.

И вдруг как взрыв: нежащая душу буколика сменилась ультрасовременной дорожной развязкой на разных уровнях и домами-кристаллами из тонированного стекла. И снова за окном каналы, мельницы и всадники на тропинках между полями возвращали ее в прошлое, где было спокойно и безопасно. И ей захотелось поделиться своим минутным покоем, душевным равновесием с Юркой. Она взяла его за руку, чего давно уже не делала, и рука оказалась неожиданно живой. Тина вспомнила свой ужас, когда впервые, прикоснувшись к его руке, не почувствовала ответного трепета, готовности сделать движение навстречу. Исчезло ощущение приподнятой напряженности, в которой они жили почти двадцать лет, так и не привыкнув до конца друг к другу, не выговорившись до опустошенности,

бережно сохраняя зерно индивидуальности, свою самость. Друзья с завистью посмеивались над ними: "Ну вы даете! Столько лет вместе, и все еще семья в процессе становления!". Осталось все или почти все: и любопытство друг к другу, и умение удивить неожиданным поворотом мысли — интеллектуальные игры домашнего масштаба, и теплота и нежность, но исчез накал чувств, который заставлял души вибрировать в едином порыве. Незаметно время и жизнь что-то истерли в них, хотя еще много лет тому назад они решили для себя не опускаться до обыденности, стараться быть выше мелочей, житейской рутины. Тогда, сделав беглый осмотр себя изнутри, Тина решила, и сейчас была уверена в своей правоте, что жертвой времени был Юрка. Она чувствовала, что может и дальше жить на том когда-то выбранном уровне, душа рвалась, летела, еще не растеряв, не утратив того, что было ей отпущено, но летела уже одна. И она, одинокая в своем порыве, жалела Юрку в его спокойной достаточности, не знавшего о своих утратах.

Еще до всего — до любви, до семьи, до решений — в розовом девичестве, как называла она совсем уже далекое время, с удовольствием используя иногда кокетливые, эвфемистические выражения позапрошлого века, придумала Тина для себя правила жизненной игры. Успех протяженного спектакля без антрактов, который каждому суждено сыграть лишь один раз, зависит, считала она, от уровня режиссуры, талантливости актера и полноты отдачи. И она играла честно — понимала, разделяла, соответствовала, всегда в тонусе, следя за собой, не обременяя своими сомнениями, стараясь, чтобы ее было столько в каждый момент, сколько необходимо, — и не больше. А все извне — чувства, признание — должно было прийти к ней само собой — награда, подарок за ее маленькие совершенства, иначе игра не доставляла удовольствия. Мужчина же, за которого нужно бороться, которого нужно завоевывать, исхитряясь, — это был чужой вариант, для нее не оправдывающий себя в эмоциональном плане. Такая борьба была ей скучна, вносила бы хаос в ее несколько беспорядочную внешне, а изнутри четко организованную жизнь — эту цену она не согласна была платить за то, что принято называть счастьем. И сейчас, живя рядом с чуть потускневшим Юркой, она не старалась вернуть что-то уходящее. То, что ушло, то ушло — просто исчез какой-то полутон в палитре чувств, жестче стала внутренняя схема, впереди уже маячило одиночество вдвоем.

Но сейчас, она чувствовала, они были вместе, как прежде, и, сплетая свои пальцы с его пальцами, полувопросительно, полуудивленно сказала:

— Какое чудесное утро! Неужели мы с тобой едем в Амстердам? Что мы там хотим увидеть?

— Рембрандт... Ван Гог... Петр I... Золотой квартал...

— Достаточно! На узнавание этого можно потратить жизнь, а у нас всего один день!

— И сейчас ты мне скажешь, что сбывается еще одна твоя мечта, — Юрка забавлялся ее восторженной ненасытностью. — Успокой меня: у тебя еще есть в запасе несбывшееся? Иначе чем ты будешь жить? Что было в прошлый раз — Сакре-Кер?

— Нет, Сакре-Кер — это предпоследнее.

— А последнее? — смеялся он.

— "Венера и Амур" Веласкеса. Куда мы побежим прежде всего?

— Выбирай: Рембрандт, Амстель, Золотой квартал...

— И все за один день... Чертова зависимость, нет чтобы посидеть здесь две-три недели... Но все равно хорошо.

— Мы уже, радость моя, в цейтноте, и потому один день — это тоже немало.

— Ты прав, как всегда. Взглянуть вскользь, и дальше, нет времени прилипать душой. Но все равно хорошо! — повторила Тина.

И тут откуда-то сзади донеслось то, что она подсознательно все время боялась услышать.

— Ты давно из Москвы?

И разорвалось в ключья весеннее утро и ожидание праздника, а в голове пульсировало: давно из Москвы, из Киева, из Одессы... К этому вопросу, в конце концов, сводились все разговоры, отменяя шелуху повседневности, и он, единственный, был наполнен жгучим, страстным интересом к тому, что где-то там далеко жило, страдало, умирало или — теплилась надежда — рождалось.

— Тина, не надо, не мучь себя, — донесся издали голос Юрки. Но она была уже не здесь и не в этом времени.

* * *

— Мама, проснись! — у постели стоял Тимка, лицо его было растерянным, недоуменным.

Мгновенно сбросив остатки сна, она привсталала: слово "мама" настораживало — обычно он называл ее по имени, а так — только в минуты неблагополучия. По тому, куда падали солнечные лучи, она поняла, что еще нет семи часов.

— Где Юра? — спросил Тимка. — На море?

— Да, да, на пляже. Что случилось?

— Иди к нам. Что-то там передают, ребята звонят, говорят, что нужно послушать какое-то сообщение по телевизору..

В комнате сына на кровати, опираясь на подушки, сидела его молоденькая жена — двадцатилетняя серьезная девочка с не всегда понятными Тине поворотами мысли.

На экране телевизора дикторша с наспех приглаженными волосами, без косметики, в домашней вязаной кофте, глядя несчастными глазами в камеру, выговаривала непослушными губами что-то о восстановлении ленинских норм жизни, о каком-то ГКЧП, который явится гарантом нормальной и достойной жизни народа. Мелькали знакомые и незнакомые лица, бесцветные, туповатые или с хитрецей, обещавшие не допустить, призывающие сплотиться, звучала уже несколько позабытая лексика эпохи развитого социализма. "Где Юрка? — затосковала Тина. — Ну почему его никогда нет в ту минуту, когда мне нужно облокотиться?"

— Раньше это называлось дворцовым переворотом, — сказала она.

— Но это же в Москве... — начал Тимка.

— Если пройдет в Москве, то пройдет и всюду... — и понимая, что сейчас сорвется на крик и плач, сказала:

— Ну, я пошла...

— Куда пошла?

— Куда я хожу в семь часов утра? В молочный магазин.

Тина одевалась и чувствовала, как холодное бешенство овладевает ею: неужели им и их детям предстоит пережить кошмар возвращения к тому маразму, который съел их лучшие годы, как сжевал, извел на ничто жизни их родителей, а вместе с ними и бессчетное множество других — кого-то физически и всех нравственно?

Когда для нее началось, так сказать, "новое время"? Умер старик, и с ним — целая эпоха, промелькнули две эпизодические личности, не успевшие по слабости сил и дефициту отпущенного времени развернуться с блеском, а следующий — ну просто пятидесятилетний юноша на фоне правящего антиквариата — стал строить что-то с человеческим лицом, заставляя задаться недоуменным вопросом: "А с каким же лицом были власть и власть предрежащие до его пришествия?"

Поначалу все эти разговоры оставляли ее равнодушной. Но однажды, когда она пробежала мимо телевизора, который уже давно взяла за правило не слышать, фраза: "И вот сегодня настала пора брать в свои руки вок-

зал, банк и телеграф", — заставила ее остановиться и сосредоточиться. Лысый мужик с узкими раскосыми глазами на простецком умном лице с веселым напором говорил, что пришла пора отдать, наконец, в руки народа землю, обещанную еще семьдесят лет тому назад, о свободе выбора, о кризисе системы — он говорил о том, что уже много лет было для них очевидным и бессчетное множество раз повторено с друзьями за чашкой чая или двумя бутылками "алиготе". Ах, как здорово тогда говорилось!

— Кто это? — спросила Тина.

— Чередниченко, экономист... — Юрка был полностью поглощен услышанным.

И она поняла, что действительно что-то происходит, если лживый, напыщенный официоз должен был потесниться. И сразу, неожиданно для себя самой, наверное, потому, что много лет уже ожидалось, отбросив сомнения, поверила в возможность перемен, в то, что горькая и красивая фраза: "На жизнь свобода опоздала", — это не о них, что они еще успеют, пусть на излете, но успеют. А что, собственно, им, взрослевшим в шестидесятые, нужно? Они были "детьми слова" — книги. Статья в газете, фильм, спектакль были для них событием. Они верили в значимость произнесенного слова, в то, что оно будет услышано и понято, хотя бы некоторыми, — и этого уже достаточно.

Для Тины это означало возможность рассказать на лекциях о том, о чем раньше приходилось говорить лишь намеками, между строк, опасаясь не столько за себя, сколько за ребят, ее слушавших. Ведь любая свежая фраза на экзамене, в курсовой, расходящаяся с дубовой схемой учебника, не менявшегося более сорока лет, вела к провалу: вариантов не было — работа признавалась "идеологически не выдержанной". И там, где должна была пробовать себя молодая мысль, избегающая избитых тропинок, бродили по скучным страницам "лишние люди", "лучи света" и прочие ярлыки, выдуманные недоучившимися чахоточными семинаристами, замученными нищетой, комплексами и предопределенностью раннего конца.

Как любили наши идеологи называть литературу "учебником жизни"! И если следовать логике этого высказывания, можно было и в жизни научиться выделять "лишних людей". И выделяли, и не раз, — так уничтожалась самая суть литературы — гуманность, то есть человечность по-русски, стоящая над схваткой. Хотя и ее старались использовать на потребу, выдумав "социалистический гуманизм", который должен был как-то качественно отличаться от гуманизма вообще.

Ряд поколений "самой читающей нации в мире" не читал, не впитывал литературу, не жил в ней и с ней — ее "проходили". У Тины это слово вызвало стойкие ассоциации: по живому, изменчивому, нежному проходят, топчут грязными башмаками. И это живое деревенеет, теряя краски, прелесть, становясь уже не искусством, а лишь орудием.

Тина спешила рассказать, что литература — это не скучная шеренга дышащих в затылок друг другу людей, озобоченных единственной задачей — указать дорогу к светлому будущему. Ей хотелось успеть рассказать, что литература — это огромный мир, построенный талантом и воображением людей, осмелившихся заглянуть в глубину своего "я", увидеть его неповторимость и рискнувших сделать эту необычность достоянием всех. Они были разные: созидатели и разрушители, мечтатели и отчаявшиеся, благополучные и несчастные, прогрессисты и ретрограды, но только все вместе они смогли построить удивительный мир, который в чем-то был прекраснее и сложнее жизни, в чем-то хуже и проще, а иногда и заменял реальность, а если бы только отражал, то не стоило бы и писать.

В этом мире были огромные здания с пышными фасадами, уединенные замки и маленькие домики на окраине. Но величие и прелесть этой несуществующей реальности была в том, что каждый мог найти в ней дом своей души, а с помощью его в минуты одиночества — и родственные души. Всем известная фраза могла звучать и так: "Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты".

Она все спешила, как будто чувствуя, что времени в обрез, обрушить на студентов новые имена: одни — забытые, другие — сознательно сокрытые, третьи — не понятые и оставшиеся в стороне, спорные теории, нетрадиционные толкования. "Пусть, пусть, — думала она, — сейчас не поймут и не примут, но потом вдруг что-то со временем всплывет, откликнется... Как там оно называется — преемственность поколений? И почему относиться с иронией к этой самой преемственности? Зачем лукавить с самой собой? Ведь хочется остаться в памяти своих учеников мыслящим, интересным человеком, а не серым бесформенным пятном".

Какое-то время Тина была счастлива. Она уходила после лекций радостно-опустошенной, выложившейся до конца, ответив на множество вопросов, подчас не имеющих никакого отношения к теме лекции. Она была уверена, что завтра найдет свежие слова, интересные факты, а ответом будут безразличные лица ребят. А потом пришла и маленькая слава: время от времени стали появляться студенты с других факультетов. Всегда почему-то смущаясь, они тихими голосами спрашивали разреше-

ния послушать лекцию. Тина немного гордилась собой, но по-настоящему счастлива была оттого, что то самое доброе, вечное начало литературы, неслучайное количество раз опошленное, замордованное на потребу дня, все же осталось и добрым, и вечным, и к нему потянулись ищущие ответа.

Три года пролетели незаметно, на подъеме.

А затем что-то в жизни стало меняться, незаметно сместились акценты, но она опоздала почувствовать эти изменения. Просто, придя после каникул на лекцию, она увидела другую аудиторию: исчезли шумные ироничные мальчики, начитанные, имеющие свои литературные вкусы и пристрастия, втайне видящие себя в литературе, готовые превратить каждое занятие в заседание дискуссионного клуба. Именно они, неровно занимающиеся, со своими студенческими взлетами и падениями, определяли лицо курса. Тина увидела перед собой девочек, воспитанных, ухоженных, с вежливо-невозмутимыми лицами, будущих жен преуспевающих людей. Она сразу ощутила по их рассеянному равнодушию, что основная жизнь их проходит в каких-то иных сферах, а здесь они по добровольно взятой обязанности, необходимости, и не более.

Своих мальчиков-собеседников она встречала в деканате и в учебной части, где они оформляли перевод на заочное отделение или академические отпуска. Они стали другими: исчезла непосредственность, открытость, в глазах поселилась настороженность. На свои недоуменные вопросы она получала однозначный ответ: сейчас нужно выжить, родители помочь не могут — сами отброшены к примитивному копанью на садовых участках и нуждаются в поддержке. У мальчиков не было вариантов. Забросив учебники, они сбивались в ватаги и кочевали с узлами и баулами по базарам Польши и Турции. Платили пограничникам и таможенникам, отбивались от рекетиров, привозили домой гроши, на которые могли продержаться некоторое время. Затем горизонты расширились — Арабские Эмираты, Китай. Но суть оставалась та же — грязные заброшенные гостиницы, базары, ежечасная опасность. Тина ощущала, что ее сетования: "Ах, вы так хорошо знали, чувствовали "серебряный век" русской литературы" или "литературу третьей волны", — звучат просто детским лепетом рядом с их свежеприобретенным опытом. Ребята спохватывались, прекращали живописать свои приключения и, жалея ее, обещали, вряд ли серьезно относясь к своим словам, обязательно со временем вернуться в университет, к "серебряному веку", обязательно быть, состояться, как и было задумано еще давно — на границе детства и юности. Но она, уже охваченная жалостью к ним, знала, что это поколение по-

теряно для литературы, науки, как потеряны и ее последние годы, отданные им, годы, которые она считала самыми счастливыми. Мальчики были похожи на молодых гончих псов, охваченных азартом погони за крупной добычей. Разве смогут они вернуться к стопам и клаузулам или проследживать некие литературные реминисценции? Парадоксально, но утонченные литературные изыски остались в той эпохе, которую одни называют "безвременьем", другие — "застоем". Оказалось, что некая разрешенная свобода телодвижений вовсе не предусматривает полет свободного духа, а наоборот — отягощает приземленностью своих реалий. Какая уж здесь преемственность? Впереди был тупик... Вероятно, кто-то потом начнет заново, или точнее, если можно так сказать, продолжит сначала, но к ней это не будет уже иметь никакого отношения.

А сейчас, охваченная бешенством, она сбегала по лестнице: "Непостижимо, — думала она, — переворот, как в Уругвае или Верхней Вольте. А где же органы государственной безопасности? В былые годы бодрствовали. Не выпускали из поля зрения не только всякого инакомыслящего, но и каждого слегка мыслящего, который, близоруко щурясь, шуршал из своей норки в сослагательном наклонении: "Хорошо было бы, если бы...". Но и ему не давали спокойно сидеть у телевизора и возмущенно всплескивать ручками и радоваться сознанием, что не со всем, ох, отнюдь не со всем он готов согласиться, не оставляли ему возможности где-то там, в будущем, почти с основанием сказать, что и он в прошлом был не чужд чему-то, отстаивал что-то, то есть "Был" — с большой буквы. Нет, не давали сидеть, а таскали по коридорам и кабинетам, допрашивали, обвиняли в том, что не то читал, говорил не то, встречался не с тем. И доводили последовательно, не оставляя своим вниманием ни на миг, в сущности, совершенно безвредного для власти человека до самоубийства, психиатрической больницы, лагеря или, в лучшем варианте, до эмиграции. И хватало сил и людей дойти до каждого, не пропустить, не забыть. А здесь в упор не увидели перемещения войск, захвата средств связи, телевидения, создания нового правительства. Кого и от кого охраняем?"

И в каком-то мгновенном и окончательном прозрении она вдруг поняла, что все происходящее в последние пять лет — это грандиозный обман, в который втянуты все. Там, наверху, идет небывалый дележ: цепным псам отбрасываются кровавые куски, шакалы сами урывают по кусочкам, а им, всем остальным, беззубым, которым несть числа, в который раз подброшены ворохи пустых слов, и они снова — в который раз — поверили, встrepенулись духом... и оказались обманутыми.

Очередь тянулась от дверей молочного магазина до третьего от входа дерева. "Стоять пятьдесят минут, — мгновенно оценила ситуацию Тина, — да и то, в удачном варианте: если не будет длинных разборок, кто за кем стоит и не слишком ли разбавлена молоком сметана". Она прошла вдоль очереди, вглядываясь в знакомые лица женщин, с которыми встречалась здесь, в очереди, два-три раза в неделю. Лица тех, кто постарше, были покорно-терпеливыми либо злобно-въедливыми; ее ровесницы, замотанные жизнью, бесконечными хлопотами, скудостью возможностей, с недоуменным вопросом в глазах: почему все так утомительно, скучно и безрадостно? В очереди обычно говорили о пьющих мужьях, о сыновьях в тюрьме, о тесных квартирах и протекающих потолках и подробно, очень подробно — о болезнях. Были здесь и молоденькие мамы, еще не успевшие поверить в то, что праздник окончился и начались будни на всю жизнь. Они обычно молчали, еще думая, что у них все будет иначе — и с мужьями, и с детьми, и со здоровьем.

Тина всегда ждала: расскажет ли кто-нибудь о чем-то радостном, хорошем, ведь было, обязательно было в их жизни и свое маленькое счастье, пусть и на миг. Но об этом молчали, все радостное жадно хранили в себе, пряча от завистливого глаза. Оно — счастье или воспоминание о нем — принадлежало только им; оно, быть может, и помогало мириться с безысходностью жизни. А горе свое выплескивали на всех, находя утешение в схожести судьб.

Сегодня очередь была непривычно молчалива, сосредоточенно оценивала новости. И только шепот-шелест за спиной у Тины: "Нет... не может быть... ужас... опять...". Тина оглянулась: за ней стояла женщина, в ее ничего не видящем, обращенном внутрь взгляде плескался страх, недоумение и детская обида. "Еще одна идеалистка-идiotка", — с категоричностью получасового прозрения подумала Тина. Она оглядела женщину: платье из сжатого индийского ситца, ожерелье из распиленных персиковых косточек, сандалии без каблуков — все приглушенных коричневатых тонов. Интеллигентский прикид с легким оттенком богемы — научный сотрудник музея или библиотеки, технический сотрудник редакции: вечера в литературном музее, абонементные концерты в филармонии; дома — девятнадцатилетняя дочь и старенькая мама; в душе гражданственное горение, надежда и трепетная, до боли, любовь к родным. Может быть, все совсем и не так, но какое это имеет значение? — судьба советской женщины смотрела на Тину страдающими глазами.

И тут наконец прозвучало то, главное, ради чего очередь сегодня и собралась. Старуха со зло поджатыми губами, в белой, туго накрахмаленной косынке, углы которой воинственно торчали в стороны, с мстительной радостью начала говорить, и в голосе ее была уверенность, что ее поймут и поддержат:

— Слава Богу, опять порядок будет. Как их зовут... кооперативы, закроют, спекулянтов посадят...

— Пора, — подхватил старик-ветеран с орденскими колодками на заношенном пиджаке. — Что наша пенсия? Теперь на молоко не хватает, а они, гады, квартиры покупают...

— А где то молоко? — откликнулся кто-то. — Из-за них, ворюг, в очереди стоим по два часа... Все гребут под себя, вон они — на машинах мимо, а мы здесь стоим.

Очередь гудела в уверенности: посадят, изведут, — извечная надежда нищих — отобрать и зажить лучше. Женщина, стоявшая позади Тины, шептала:

— Что они говорят? Неужели совсем не понимают?

И вдруг закричала плохим голосом, истерично, с надрывом:

— Рабы! Вам нужна только палка! Вы никогда не поднимете головы!..

Очередь потеряла свою форму и начала окружать женщину и Тину, которая так и продолжала стоять на своем месте рядом с женщиной.

— Паскуда... Тоже из этих ворюг... Мы всю жизнь работали, а она нам говорит...

— Жидовка, уезжай отсюда и там командуй... — звучало вокруг.

Круг сужался, люди приблизились почти вплотную, и Тина поняла, что еще один шаг — и кто-нибудь протянет руку. "Народ, кажется, уже выбрал жертву. Ох, глупая", — подумала Тина о женщине. И уверенная, что ее, Тину, знает хотя бы в лицо, каждый человек в очереди, она поднапрягла голос и, перекрывая крики, заговорила на понятном им языке, пытаясь отвлечь внимание толпы на себя:

— Что-то, бабоньки, я вас не понимаю. Двадцать лет вместе с вами стою здесь, в очереди, а не заметила, что много счастья вам коммунисты дали. Работали всю жизнь, а что вы имели? Концы с концами не сводили? Не эти, так те мимо вас на машинах. А вы все так же стояли...

— Кто это? — слышалось в толпе.

— Та учительница, из университета...

— Дочка Лукича...

— Эх, правду говорит, а мы на бедную бабу окрысились...

Напряжение спало, очередь снова обрела форму, а тут и молоко подвезли.

"Девять лет тебя уже нет, папа, а я все еще дочка Лукича", — подумала Тина и посмотрела вдоль квартала, с трудом сдерживая слезы. Вспомнила, как лет восьми-десяти она любила стоять на балконе, вот этом, который и сейчас над ней, и смотрела так же вдоль квартала, ожидала, когда появится фигура отца. Она узнавала его издалека: морская форма — черная с белым, высокая фуражка с золотыми ветками и крабом. Она сбегала с лестницы и мчалась навстречу — это был ритуал: сбежать как можно быстрее, чтобы встретить подальше от дома. Он, подыгрывая ей, шел по их кварталу медленно. А когда подбегала, то отец уже частенько беседовал с одной из этих, тогда еще молодых женщин, о том, куда пристроить ее Витьку или Вовку. Расспрашивал, как учится, чем увлекается. "Зайдите вечером, Михайловна, — говорил, — подумаем вместе".

Тина шла ко входу в парадное. Корзина, полная бутылок и баночек, оттягивала руку.

— Спасибо, — раздалось сзади, и Тина остановилась, — вы, вероятно, меня спасли. — Я вела себя, как дура. А потом так испугалась, что не могла уже ни слова сказать. Как страшна толпа, я никогда раньше об этом не думала. Если бы не вы...

— Пустое, — сказала Тина, все они злы от своей несчастливости, обделенности, что ли. И глядя в лицо женщины, спросила напрямик: — А почему вы не уезжаете?

Женщина помолчала, глядя поверх головы Тины, и сказала тихо, отрешенно:

— Некуда. Понимаете ли, я — русская...

* * *

Дома все были на ногах. Работали телевизор и два радиоприемника. Юра и Тимка пытались одновременно слушать "Голос Америки", "Би-би-си" и смотреть первую программу. Юра растерянно повторял:

— Тина, ты слышишь, что происходит? Я всегда этого боялся, все вернется опять... Тина!

— Да, да, — отмахнулась она, потому что в голове мелькала и никак не могла сложиться какая-то очень нужная мысль.

Телевизор вещал о том, что все новые и новые регионы страны выражают поддержку законному правительству; "голоса" старались определить, какие реальные силы стоят за вдруг всплывшими никчемными фигурами.

Без перерыва звучали телефонные звонки: звонили все — родственники, друзья, просто знакомые и даже весьма отдаленные тоже. Страх, растерянность, непонимание и явное желание — ох, чудесное советское словечко — сплотиться.

"Не хочу, не хочу", — твердила про себя Тина, хотя даже для себя не могла уяснить, чего же она не хочет.

Наспех позавтракали и опять приникли к радио и телевизору, а Тина вдруг поняла, что не может оставаться дома. Внутреннюю напряженность нужно было снять движением, действием. Она быстро собралась, отмахнулась от вопросов, куда и зачем, и вышла на улицу. И тут же задала себе те же вопросы.

Куда — она решила быстро и зашла в парикмахерскую. Она была необычно пуста. Здесь ее тоже все знали.

— Что это вы не в свой день? — спросила Симочка, к которой она — не помнит уже сколько лет — ходила стричься, причесываться и, как говорится, приводить себя в порядок.

— Да так, под настроение.

— Хотите быть красивой? — начала профессионально игриво Симочка и ту же осеклась. — Что теперь будет? Мы коллективно приватизировали парикмахерскую...

Тина неопределенно пожала плечами. "Что теперь будет?" — дельный вопрос. Из парикмахерской она вышла с новой прической и с "лицом". Ей всегда казалось, что за парадным фасадом легче скрывать свои мысли, смятение. "Это мое, — повторяла она про себя, — мое, никому нет дела, никому... даже самым..." — додумывать до конца не хотелось.

Она шла не спеша по Пушкинской, над которой смыкались кроны полуторавековых платанов. В ясный августовский день уже скользнула прохладная осенняя струйка. В день или в ее душу? Гнев, обида, недоумение — все ушло, сменилось прозрачной пустотой, отрешенностью. Она всматривалась в старинные знакомые дома, в сохранившиеся завитушки и обсыпаящую лепнину с остротой первого узнавания, которая сопоставима разве что с пристальностью последнего взгляда.

Тина вышла к бульвару. У археологического музея постояла на ярко-желтом кусочке мостовой, выложенном удивительно гладкими, отполированными плитками. Рассказывали, что еще в начале века какая-то итальянская фирма предложила вымостить улицы Одессы этими плитками; шли переговоры. Но вскоре началась первая мировая война, и стало не до них. А этот образец остался до сих пор, без изъянов, не тронутый временем, как будто положенный вчера.

Бульвар был пуст и тих; она села на скамейку и скользнула взглядом вдоль — по фасаду ведомственной поликлиники пароходства, где много лет работала мать, по фасаду гостиницы "Лондонская", которую в городе так и не привыкли называть "Одесса", по узорчатым балконам, говорят, повторяющими парижские... Может быть, может быть...

А память вдруг рванулась почти на тридцать лет назад и наполнила бульвар тоненькими фигурками девочек с узкими талиями, в юбках из клетчатой тафты, под которые надевались нижние юбки с оборками, — чтобы казаться еще более хрупкими. На бульваре встречались, знакомились, проводили время... На фоне бульвара протекла, улетела, растворилась и ее первая любовь. Не было, не просматривалось общее будущее у нее, изнеженной девочки-десятиклассницы, и матроса-радиота. Не было будущего, но было сегодня, была любовь. Они расставались на этом бульваре, давая слово больше не встречаться, и через два дня, не выдержав, снова прибегали на бульвар в надежде встретиться. И так тянулось два года, пока он не разрубил этот узел и не уехал, не предупредив, в Мурманск. И она отчетливо, как будто не было этих долгих лет, вспомнила темно-синие глаза, выгоревшие добела волосы, нездешний тропический загар и то необычное в лице, что Александр Грин называл "острота бегущей волны".

* * *

Призрачный, отраженный в водах канала Амстердам дрожал, змеился, потревоженный катером, менял свои очертания. А выше сквозь еще прозрачную молодую светло-зеленую листву были видны узкие, в два-три окна, дома с высокими фронтонами. Мимо проплывали стиснутая домами, рвущая ввысь Весткерк — Западная церковь, где, как принято считать, покоится Рембрандт, дом Анны Франк, плавучие жилища на воде, Оуде Керк — Старая церковь, в ней похоронена Саския. "Почему они — Рембрандт и Саския — не вместе?" — пожалела их, разделенных в смерти, Тина. Через столетия смотрят с полотна подвыпивший гуляка с рыжеволосой пышнотелой красоткой на коленях, еще не ведающие о мимолетности радостного мгновения и о том, что им на века суждено стать символом счастливого супружества.

Но эти мысли мелькали где-то в глубине сознания; Тина не слышала уже голос гида, повествующего о достопримечательностях Амстердама. Что-то саднило в душе, мешая раствориться в теплом дне, слиться с пестрой толпой, ощутить прелесть так долго ожидаемого мига. Вот, вот оно —

то, что сказал гид вначале: "Добро пожаловать в самый веселый, самый свободный город Европы...".

"Свобода" — без этого слова не обходились там ни одни посиделки. Рефреном звучало: "Если бы мы жили в "свободном мире...". Уже живем. И что же? Жизнь разбросала друзей по разным континентам "свободного мира". А теперь страшно и подумать, не то что спросить: "Чувствуете себя, дорогие, свободными?". Новая кожа еще такая тонкая и нарастает так медленно, а под ней все еще пульсирует: свобода ли, свобода ли?.. Наверное, надо было еще давно договориться о том, что понимать под этим словом. Свобода реализации? Не тут-то было. Давно уже стала заезженной фраза: "Германия — не страна для эмиграции". Частокол местных привычек, предвзятых представлений и амбиций не оставлял тебе ни малейшей щелочки. Свобода на совершение ошибок? Ее у тебя никто и никогда не отнимал. Свобода духа? Вот тут посложнее. Говорят, она может быть и у человека в кандалах, и на эшафоте. Но с ней нужно уже родиться.

Когда-то Тину потрясла, перевернула одна фраза из исторического романа армянского писателя Церенца. Название романа и его содержание ускользнули из памяти, осталась только эта фраза: "Сильные жаждут власти, слабые — свободы". Люди ее круга к власти никогда не стремились, были убежденными аутсайдерами. Значит, были слабыми? А остальное — слова, которые, в конечном счете, и привели их сюда.

А экскурсия шла своим чередом. Побывали в Музее мадам Тюссо, постояли в Бегийнхофе — тихом приюте для старых одиноких бедных женщин. Тина оглядела круглый двор со сквером посредине, прелестные светлые дома с высокими окнами и будто физически ощутила неотвратимость бегущего времени, и над двором прошелестело щемящее: все в прошлом. Хотя, подумалось, есть своя грустная радость в этой тихой жизни, когда не нужно уже принимать решений, ждать ответов, спорить с самой собой, а просто, сидя у окна в кресле с прямой спинкой, вязать бесконечный шарф.

А улицы пестрели флагами, плакатами, все более наполнялись людьми. А гид объяснил, что сегодня — день рождения королевы-матери Юлианы. Этот день любимой старой королевы традиционно празднуют все голландцы.

В зале Португальской синагоги, где гид рассказывал о путях миграции евреев — Марокко — Испания — Португалия — Нидерланды, Юрка задумчиво произнес:

— А знаешь, евреи в каком-то там пятнадцатом, шестнадцатом веке чувствовали себя здесь свободными.

И Тина в который раз поразились тому, как часто их мысли текут параллельно.

— Посмотри, какие высокие потолки, какое пространство...

— И что же? — не улавливала ход его рассуждений Тина.

— Понимаешь ли, приниженные люди строят всегда что-то приземистое, неуклюжее. А здесь они жили, работали, наверняка ощущали себя равными. Иначе не строили бы такой храм...

"А Юрка прав, — подумала Тина. — Работали... А что здесь делаем мы, те, которым не тридцать, и даже уже не сорок?" Тина вспомнила свои похождения на ниве преподавания русского языка. Время от времени звонил владелец частной школы по изучению языков для взрослых. И Тина знакомилась с очередным учеником, который бодро объяснял, что хочет — так как предстоит поездка в Россию с коммерческими или туристическими целями — "взять" русский язык за восемнадцать часов, иногда называлась цифра сорок восемь часов. Самый усердный решил уделить освоению "великого и могучего" семьдесят два часа. Приходилось изобретать краткий целевой курс и попутно отвечать на поразительные вопросы: есть ли в России общественный транспорт, пьют ли там что-нибудь кроме водки, и можно ли летом снять пальто или круглый год стоит мороз? Но работа выпадала редко, а чаще приходилось выдумывать, создавать себе занятия, искусственно наполняя жизнь содержанием и смыслом. Концерты, литературные встречи, лекции, экскурсии, представления — здесь смешивалось все: желание поделиться своими знаниями, душой и страх, уничтожающая боязнь потерять себя, исчезнуть духовно, утратить последнее прибежище. Отсюда и суета, и работа локотками, и нетребовательность, и подчас печальная мизерность происходящего. Как говорила одна Тинина приятельница: "Эх, если бы столько усилий мы прилагали там, то давно бы стали "новыми евреями".

Экскурсия проходила мимо Тины. Она снова очнулась и оказалась со всеми уже в музее Ван Гога, когда кто-то теребил ее и говорил:

— Как жаль, что он сошел с ума...

— Высокое, гениальное безумие, — сказала Тина жестко. — Если бы не оно, он навсегда бы остался автором "Едоков картофеля".

— Ты действительно так думаешь? — тихо спросил Юрка.

— Конечно. Посмотри, чем глубже овладевало им безумие, тем раскованнее становилась форма, более смелым, парадоксальным сочетание красок...

Автобус ждал их у выхода из музея. Издалека доносились шум и музыка, а толпа веселых людей двигалась в сторону Старого города. Но они вместе со всеми направились к автобусу.

— Подожди, — неожиданно придержала его за рукав Тина. — Давай останемся...

— Где?

— Здесь... — неопределенно развела руками она.

— Как останемся? Что ты говоришь?

— До утра... Не хочу как все, как всегда. Одно и то же слышим, видим... Жвачка! Мы же с тобой можем увидеть свое, иначе, совсем другое, — сбивчиво говорила Тина. — Пойдем, предупредим, — и уже тянула его к автобусу.

— Ну, как мы сами... Ты создаешь сложности... — начал было Юрка, но посмотрел на Тину и осекся. — Ладно... Мы остаемся здесь, не ждите нас, — сказал он гиду.

И отменяя прощальным взмахом руки недоуменные возгласы и ненужные уговоры, они побежали к мостику через канал. И только смешавшись с толпой, перестали чувствовать за спиной давление возмущенных и укоряющих взглядов.

По мере приближения к Старому городу толпа становилась все плотней, движение замедлилось, а потом и вовсе приостановилось. Взявшись за руки, Тина и Юрка пробирались сквозь толпу, сквозь оглушительный шум. Люди ели, пили, кричали, смеялись, беззлобно обменивались шутками. Все казались знакомыми, одной семьей, собравшейся на праздник на своем дворе. Завтра они, наверное, и не вспомнят лиц тех, с которыми рядом пили, но сегодня открытые двери кафе, ресторанов и дискотек, ритмы музыки, вспышки рекламы создавали ощущение шального веселья.

Они прошли улицами Старого города, которые выглядели совсем иными — не такими, как днем. Люди вокруг, изображая изумление, удивленными смешными жестами спрашивали у них, почему они не пьют, как все, и зазывно махали руками, приглашая присоединиться к их компании. Потом они вышли на Дамрак, но снова свернули в узкие старинные улочки, петляя без цели. Из темноты выплывали странные фигуры: ласкающие друг друга девушки, молодые мужчины в ярких женских платьях, длинных завитых париках, с макияжем на лицах. Тина ошарашено уставилась на одного — высокого, тонкого, в облегающем оранжевом платье, слишком легком для прохладного вечера, и туфлях на высоких каблуках. Красивый, изящный, с волной черных волос по плечам, он был похож на экзотический цветок. А он, зная свою привлекательность и явно наслаждаясь произведенным впечатлением, дружелюбно подмигнул Тине. Юрка развеселился и спросил:

— Ты хотела увидеть Амстердам с этой стороны? А как чувствует себя твое пуританское воспитание?

— И с этой... Воспитание бунтует, но любопытство пока что загоняет его вглубь. Но я чувствую себя динозавром...

— Кем?

— Динозавром... Ты заметил, что на улицах все моложе нас?

В одном из темных переулков, куда выходили задние двери домов, они вдохнули пряный дымок. Здесь было тихо, на крышках, прикрывающих подвалы, смутно вырисовывались силуэты в расслабленных позах. Ленивым взмахом руки кое-кто из них предлагал прилечь рядом и покурить.

— И эти готовы поделиться своей радостью, — сказал Юрка.

Ночь шла на убыль. Они снова вышли на Дамрак и по мостику перешли на другую сторону канала, и неожиданного очутились в квартале "красных фонарей". Тускло освещенная улочка скрывала в своей тени фигуры мужчин, медленно бредущих мимо окон-витрин. Тина, конечно, знала, где-то читала об этом знаменитом квартале Амстердама. Но ничем не прикрытая обыденность и разрешенность исключала всякую мысль об увлекательном приключении. Почти во всех окнах сидели и стояли более или менее темнокожие женщины — из Африки и Азии, низкорослые, многие тучные и уже немолодые. Кое-где мелькали миловидные личики девушек то ли из Вьетнама, то ли из Бирмы.

"Наверное, я ханжа, — подумала Тина, — но мне кажется сомнительным удовольствие, которое здесь можно получить. Я чего-то не понимаю". И тут же по привычке немедленно поделилась своей мыслью с Юркой.

— Тебе и не полагается понимать, — как-то покровительственно сказал Юрка. — Но это развлечение определено не для нас. Пошли...

— Да, я устала. Давай где-нибудь посидим...

На выходе из квартала они увидели кучку мужчин, которые рассматривали девушку в угловом окне.

Высокая, с безупречной фигурой и гривой светлых волос, она стояла в окне, расставив ноги и держась поднятыми широко разведенными руками за что-то, расположенное выше рамы. Фигура и поза сложились в совершенную по форме букву "X". Она смотрела вверх голов спокойно, презрительно, скорее не предлагая себя, а демонстрируя. Кто-то из мужчин пробормотал: "Наташа..."

— Черт возьми! — почти кричала Тина. — Такая девушка могла быть моделью, натурщицей, звездой шоу, наконец, чьей-то подругой... Что мог-

ло бросить такую красоту в амстердамский бордель? Посмотри, у них даже не хватает смелости ее купить...

— Жизнь... — грустно сказал Юрка и обнял Тину за плечи. — Идем...

На набережной Амстеля они сели на скамью. Было холодно, тихо и одиноко. В белесом свете раннего утра проступали контуры зданий. Их монументальный строй терялся вдали. Набережная так очевидно была похожа на петербургскую, но почему-то не было радости узнавания.

Издали донесся звук торопливых шагов. Мимо них, зябко поеживаясь от холода, быстро прошли двое молодых людей. Один из них беззастенчиво говорил по-русски:

— Когда я приехал в Амстердам, у меня было семь долларов в кармане...

— И как ты выкрутился?

— Как видишь, выкрутился, живу уже полгода...

Не стовариваясь, Тина и Юрка поднялись и пошли к вокзалу. Улицы были безлюдны, чисто вымыты, и ничто уже не напоминало о ночи разгула и вседозволенности.

Когда они вышли на привокзальную площадь, Тина тихо спросила:

— Мы уедем домой?..

Вот оно, то, чего он боялся все эти годы — Юрка заметался в поисках несуществующего ответа, еще надеясь спасти Тину и себя, но сумел лишь деланно неторопливо, буднично проговорить:

— Скоро, потерпи немного, поезда в сторону Дюссельдорфа и Кельна идут, наверняка, каждые два часа.

Тина взяла его за руки и с силой развернула лицом к себе:

— Ты понимаешь, о чем я... Мы уедем домой?

Глядя в ее глаза, ждущие и страдающие, он отбросил все сомнения и, не веря в свои слова, но стараясь удержать ее рядом, здесь, навсегда, на час, еще на минуту, сказал:

— Да, любимая, конечно, мы только переведем дыхание...

